

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero.

Martin Luther¹

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seul»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проникательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда,

¹ При жизни я был тебе чумой — умирая, я буду твоей смертью. *Мартин Лютер (лат.).*

² Происходит от того, что человек не может быть наедине с собой (*фр.*).

³ Лишь однажды вселяется в разумную оболочку; во всех остальных воплощениях — в лошади, в собаке, даже в человеке — она остается почти совершенно им чужда (*фр.*).

точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям, столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекало что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасности полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок недолгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Мет-

ценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг; и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышлял новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная, словно бы сочувственно, над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшми. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере, никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели

его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедля запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какую смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот как! — промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот как, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно: привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?»

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радужными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он се-

бя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой демонической природы этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже

молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды буйной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн, точно безумный, выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейн треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение — и, одним прыжком перенесаясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лест-

ницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

1832

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Qui n'a plus qu'un moment a vivre,
N'a plus rieu a dissimuler.

*Quinault. Atys*¹

О моей родине и семье не стоит говорить. Людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить отношения со второй. Наследственное состояние дало мне возможность получить исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретенные прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов; не потому, что восхищался их красноречивым безумием, — нет, мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, в чем помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости; недостаток воображения ставили мне в упрек; и я всегда славился пирроновским складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте: я подразумеваю склонность подводить под законы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я менее, чем кто-либо, способен был променять строгие данные истины на *ignes fatuos*² суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грезой больного воображения, чем отчетом о действительном происшествии с человеком, для которого грезы воображения всегда были мертвой буквой или ничем.

¹ Кому осталось жить мгновенье,
Тот ничего не утаит.

Филипп Кино. Атис (фр.)

² Блуждающие огни (*лат.*).

Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 18... году из порта Батавия, на богатом и многолюдном острове Яве, к Зондскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какою-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня.

Наш корабль был прекрасное судно в четыреста тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из малабарского тикового дерева. Он вез груз хлопка и масла с Лакадивских островов, а также запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. Вследствие небрежной нагрузки корабль был очень валок.

Мы тихонько ползли под ветром вдоль берегов Явы, и в течение многих, многих дней ничто не нарушало однообразия путешествия, кроме мелких суденышек, попадавшихся навстречу. Однажды вечером, стоя у гакаборта, я заметил на северо-западе странное одинокое облако. Оно бросилось мне в глаза своим необычным цветом; к тому же оно было первым облаком, замеченным нами после отплытия из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до солнечного заката, когда оно охватило значительную часть неба с запада на восток в виде узкой гряды, напоминавшей низкий морской берег. Вскоре внимание мое было привлечено необычайно красным цветом луны. Море также изменилось и стало удивительно прозрачным. Я совершенно ясно различал дно, хотя лот показывал глубину в пятнадцать фатомов. Воздух был невыносимо душен и поднимался спиральными струями, как от раскаленного железа. С наступлением ночи ветер упал, и наступило глубокое, совершенное затишье. Пламя свечи, стоявшей на корме, даже не шевелилось, волосок, зажатый между большим и указательным пальцем, висел неподвижно. Как бы то ни было, капитан сказал, что не замечает никаких признаков опасности, и, так как течение относило нас к берегу, велел убрать паруса и бросить якорь. Он не счел нужным поставить вахтенных, и матросы, большею частью малайцы, беспечно растянулись на палубе, а я спустился в каюту не без дурных предчувствий. Действительно, все предвещало шторм. Я сообщил о своих опасениях капитану, но он не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Беспокойство не позволило мне уснуть, и около полуночи я снова пошел на палубу, но не успел поставить ногу на верхнюю ступеньку трапа, как раздался громкий, жужжащий

гул, подобный шуму мельничного колеса, и корабль заходил ходуном. Еще мгновение — и чудовищный вал швырнул нас набок, окатив всю палубу от кормы до носа.

Бешеная сила урагана спасла корабль от потопления. Он наполовину погрузился в воду, но, потеряв все мачты, которые снесло за борт, тяжело вынырнул, зашатался под напором ветра и наконец выпрямился.

Каким чудом я избежал гибели, решительно не понимаю. Я был совсем оглушен, а когда очнулся, оказался стиснутым между ахтерштевнем и рулем. С трудом поднявшись на ноги, я дико огляделся, и в первую минуту мне показалось, что мы попали в сферу прибоя: так бешено крутились громадные валы. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из Батавии. Я отозвался, крикнув изо всех сил, и он кое-как пробрался ко мне. Вскоре мы убедились, что, кроме нас двоих, никто не пережил катастрофы. Всех находившихся на палубе смыло волной; капитан и его помощники, без сомнения, тоже погибли, так как каюты были затоплены. Вдвоем мы не могли справиться с судном, тем более что были обессилены ожиданием гибели. Канат, без сомнения, лопнул, как нитка, при первом натиске урагана — иначе корабль разбился бы мгновенно. Мы неслись в море с ужасающей быстротою; волны то и дело заливали палубу. Кормовая часть сильно пострадала, да и все судно расшаталось, но, к великой нашей радости, помпы оказались неповрежденными. Ураган ослабел, утратив бешеную силу первого натиска, и мы не особенно опасались ветра, но с ужасом ожидали его полного прекращения, так как были уверены, что потрепанное судно не вынесет мертвой зыби. По-видимому, однако, этим опасениям не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, в течение которых мы поддерживали свое существование несколькими горстями тростникового сахара, который нам с великим трудом удалось добыть на баке, пять дней и пять ночей судно несло с невероятною быстротою, подгоняемое ветром, который хотя и утратил свою первоначальную силу, но все-таки был сильнее всякого урагана, какой мне когда-либо случалось испытать. В первые четыре дня он дул почти все время на юг и юго-запад и, очевидно, гнал нас вдоль берегов Новой Голландии. На пятый день холод усилился до крайно-

сти, хотя ветер переменился. Солнце казалось тусклым медно-желтым пятном и поднялось над горизонтом всего на несколько градусов, почти не давая света. Облаков не было, но ветер дул с бешеными порывами. Около полудня (по нашему приблизительному расчету) внимание наше снова привлечено было солнцем. Собственно говоря, оно вовсе не светило, а имело вид тусклой красноватой массы без всякого блеска, как будто все лучи его были поляризованы. Перед самым закатом его центральная часть разом исчезла, точно погашенная какой-то сверхъестественной силой. Только матовый серебряный обруч опустился в бездонный океан.

Мы тщетно дожидались наступления шестого дня — он не наступил ни для меня, ни для шведа. Мы оставались в непроглядной тьме, так что не могли различить ничего за двадцать шагов от корабля. Вечная ночь окружала нас, не смягчаемая даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили также, что, хотя буря свирепствовала с неослабевающей яростью, волны уже не пенились и потеряли вид прибоя. Нас поглотила зловещая ночь, непроглядная тьма, удушливая, черная пустыня! Мало-помалу суеверный ужас закрался в душу старика-шведа, да и я погрузился в безмолвное уныние. Мы предоставили корабль на волю судьбы, сознавая, что наши усилия все равно ни к чему не приведут, и, приютившись у остатка бизань-мачты, угрюмо всматривались в океан. Мы не могли следить за временем или определить, где находимся. Очевидно, нас занесло далее к югу, чем удавалось проникнуть кому-либо из прежних мореплавателей. Мы удивлялись только, что не встречаем ледяной преграды. Между тем каждая минута грозила нам гибелью, исполинские валы поднимались со всех сторон. Я во всю мою жизнь не видал такого волнения. Истинное чудо, что мы уцелели до сих пор.

Спутник мой приписывал это незначительности груза и старался ободрить меня, напоминая о прочности нашего корабля, но я чувствовал полную невозможность какой-либо надежды и угрюмо готовился к смерти, ожидая ее с минуты на минуту, так как чем дальше подвигался корабль, тем яростнее бушевала зловещая черная пучина. То мы задыхались от недостатка воздуха, поднявшись выше птичьего полета, то с головокружительной быстротой слетали в водяную

бездну, где воздух отзывался болотной сыростью и ни единый звук не нарушал дремоты подводных чудовищ.

Мы находились на дне такой бездны, когда громкое восклицание моего товарища раздалось среди ночной темноты.

— Смотри! Смотри! — крикнул он мне в ухо. — Боже всемогущий! Смотри! Смотри!

Тут я заметил странный тусклый красноватый свет, озаривший чуть брезжущим блеском нашу палубу. Следя за ним, я поднял голову и увидел зрелище, заледенившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на гребне колоссального вала, возвышался гигантский, не меньше четырех тысяч тонн, корабль. Хотя высота волны раз во сто превосходила его высоту, он все-таки казался больше любого линейного корабля. Его громадный корпус был густого черного цвета, без всякой резьбы или украшений. В открытые люки высовывался ряд медных пушек, блестящие дула которых отражали свет бесчисленных фонарей, развешанных по снастям. Но всего более поразило нас ужасом и удивлением то обстоятельство, что он шел на всех парусах в этом водовороте бешеных валов под напором неукротимого вихря. В тот миг, когда мы заметили его, он медленно вздымался из мрачной зловещей пропасти. С минуту он простоял на гребне, точно любуясь собственным великолепием, потом задрожал, пошатнулся — и рухнул вниз.

В эту минуту какое-то удивительное спокойствие овладело моей душой. Я отполз как можно дальше на корму и бесстрашно ожидал падения, которое должно было потопить нас. Наш корабль уже перестал бороться и погрузился носом в море. Низринувшаяся громада ударилась в эту часть, уже находившуюся под водой, причем корму, разумеется, вскинуло кверху, а меня швырнуло на снасти чужого корабля.

Вероятно, меня не заметили в суматохе. Я без труда пробрался к главному люку, который оказался незапертым, и спрятался в трюм. Почему я сделал это, сам не знаю. Неизъяснимое чувство страха при виде этих странных мореплавателей, вероятно, было тому причиной. Я не решался довериться таким странным, сомнительным, необычайным людям.

Не успел я спрятаться, как послышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо моего убежища неверной и тихой походкой. Я не мог разглядеть лица, но общий вид его указывал

на преклонный возраст или недуг. Колени его дрожали, и все тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерывающимся голосом, на непонятном языке, копаясь в углу в груде каких-то странных инструментов и старых морских карт. Движения его представляли удивительную смесь раздражительности второго детства и величавого достоинства. Наконец он ушел на палубу, и я не видел его более.

* * *

Чувство, которому нет названия, овладело моей душой, — ощущение, которое не поддается исследованию, не находит подобия в опыте прошлых лет и едва ли найдет разгадку в будущем. Это последнее особенно неприятно человеку с моим складом ума. Я никогда — сам знаю, что никогда, — не найду удовлетворительного объяснения моим теперешним мыслям. Но удивительно ли, что мысли эти не поддаются определению, раз они возникли из таких новых источников. Новое чувство, новая составная часть прибавилась к моей душе.

* * *

Много времени прошло с тех пор, как я вступил на палубу этого корабля, и лучи моей судьбы, кажется, сосредоточились в одном фокусе. Непонятные люди! Погруженные в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия. Прятаться мне нет смысла, потому что они не хотят меня видеть. Сейчас я прошел мимо помощника, а незадолго перед тем явился в каюту капитана и взял там письменные принадлежности, чтобы составить эти записки. Время от времени я буду продолжать их. Неизвестно, конечно, удастся ли мне передать их миру, но я, по крайней мере, сделаю попытку. В последнюю минуту я положу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

* * *

Еще происшествие, доставившее мне новую пищу для размышлений. Неужели такие явления — дело слепой судьбы? Я вышел на палубу и, не привлекая ничьего внимания, бросился на груды старых парусов. Размышляя о своей не-

обычайной судьбе, я машинально водил дегтярной кистью по краям тщательно сложенного лиселя, лежавшего подле меня на бочонке. Лисель упал на палубу, развернулся, и я увидел, что из моих случайных мазков составилось слово «ОТКРЫТИЕ».

Я познакомился с устройством корабля. Это хорошо вооруженное, но, по-видимому, не военное судно. Его оснастка, корпус, вся экипировка говорят против этого предположения. Вообще, я вижу ясно, чем он не может быть, но что он есть, невозможно понять. Не знаю почему, но при виде его странной формы, необычайной оснастки, огромных размеров и богатого запаса парусов, простого, без всяких украшений, носа и устарелой конструкции кормы мне мерещится что-то знакомое, что-то напоминающее о старинных летописях и давно минувших веках.

* * *

Рассматривал бревна корабля. Он выстроен из незнакомого мне материала. Дерево особенное, на первый взгляд совсем непригодное для постройки судна. Меня поражает его пористость — независимо от трухлявости и червоточин, обычных в этих морях. Быть может, слова мои покажутся слишком странными, но это дерево напоминает испанский дуб, растянутый какими-то сверхъестественными средствами.

Перечитывая эти строки, я припомнил замечание одного старого опытного голландского моряка.

— Это верно, — говаривал он, когда кто-нибудь выражал сомнение в его правдивости, — так же верно, как то, что есть море, где корабль растет, точно человеческое тело.

* * *

Час тому назад я смешался с толпой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, по-видимому, вовсе не замечали моего присутствия, хотя я стоял посреди толпы. Как и тот человек, которого я увидел в первый раз, все они обнаруживали признаки глубокой старости. Колени их тряслись, плечи сгорбились, кожа висела складками, разбитые старческие голоса шамкали чуть слышно, глаза слезились, седые волосы развевались по ветру. Вокруг них по всей палубе были разбросаны математические приборы самой странной, устарелой конструкции.

* * *

Упомянув выше о лиселе, я заметил, что он был свернут. С тех пор корабль продолжает свой страшный бег к югу, при кормовом ветре, распустив все паруса от клотов до унтер-лиселей, среди адского волнения, какое не снилось ни единому смертному. Я спустился в каюту, так как не мог стоять на палубе, хотя экипаж судна, по-видимому, не испытывает никаких затруднений. Мне кажется чудом из чудес, что наш громадный корабль не был поглощен волнами. Видно, нам суждено было оставаться на пороге вечности, но не переступить за него. Среди чудовищных волн, в тысячу раз превосходивших самое страшное волнение, какое мне когда-либо случилось видеть, мы скользили, как чайка, и грозные валы вздымались, точно демоны, из пучины вод, угрожая разрушением, но не смея исполнить угрозу. В объяснение этого я могу указать лишь одну естественную причину. Надо полагать, что корабль наш двигался под влиянием какого-нибудь сильного течения.

* * *

Я видел капитана лицом к лицу в его собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Случайный наблюдатель не заметил бы в нем ничего особенного, чуждого природе человеческой, тем не менее я смотрел на него со смешанным чувством удивления, почтения и страха. Он приблизительно одного со мною роста, то есть около пяти футов и восьми дюймов. Сложен хорошо, стройный, не слишком дюж, не слишком хил. Но странное выражение лица — поразительная, резкая, бьющая в глаза печать страшной, глубокой старости — возбуждает во мне чувство неизъяснимое... Лоб его не слишком изборозжен морщинами, но кажется, будто на нем печать множества лет. Седые волосы его — летопись прошлого, серые глаза — сивиллины книги будущего. Каюта завалена странными фолиантами с железными застежками, попорченными инструментами, старинными, давно забытыми картами. Он сидел, подперев голову руками, и с беспокойством перечитывал какую-то бумагу, по-видимому официальную: я заметил на ней королевскую печать. Он что-то ворчал себе под нос,

как первый моряк, которого я видел, что-то неразборчивое, брюзгливое, на незнакомом мне языке; и хотя я сидел с ним бок о бок, голос его слышался мне точно издали.

* * *

Корабль и все, что на нем находится, запечатлены печатью старости. Люди бродят по палубе, как тени минувших веков; в глазах их отражается нетерпение и тревога, и, когда они попадают мне навстречу, озаренные фантастическим светом фонарей, мной овладевает чувство, которого я никогда не испытывал, хотя всю жизнь занимался древностями, хотя блуждал в тени развалин Баальбека, Тадмора, Персеполя, пока душа моя сама не превратилась в развалину.

* * *

Глядя вокруг себя, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от страха, когда ураган сорвал нас с якоря, то что же должен был чувствовать теперь, среди этого адского разгула волн и ветра, о котором не дадут никакого понятия слова «смерч» и «торнадо». Вокруг нас непроглядная черная ночь, хаос темных, без пены, валов, и только на расстоянии мили по обе стороны корабля неясно обрисовываются в зловещей тьме громады льдов — точно стены вселенной.

* * *

Как и я думал, корабль увлечен течением, если только можно применить это название к потоку, который мчится с ревом и воем, сокрушая встречные льды, по направлению к югу, с головокружительной быстротой водопада.

* * *

Невозможно передать мой ужас, однако стремление проникнуть в тайны этих зловещих стран вытесняет даже отчаяние и примиряет меня с самой ужасной смертью. Очевидно, мы лицом к лицу с великим открытием, с тайной, разоблачение которой будет гибелью. Быть может, этот поток влечет нас к Южному полюсу. Надо сознаться, что в пользу этого предположения, при всей его кажущейся нелепости, говорит многое.

* * *

Экипаж беспокойно расхаживает по палубе, но я читаю на лицах скорее надежду, чем равнодушие и отчаяние.

Ветер, как и прежде, в корму, и так как все паруса распущены, то по временам корабль буквально взлетает над водою! О ужас из ужасов! Лед расступается направо и налево, мы бешено мчимся громадными концентрическими кругами вдоль окраины чудовищного амфитеатра, стены которого теряются во тьме. Круги быстро сужаются — мы захвачены водоворотом, — и среди рева, свиста, визга океана и бури корабль сотрясается и — о боже! — идет ко дну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» напечатана в 1831 году, и только много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан впадает четырьмя потоками в полярную (северную) пучину, где исчезает в недрах земли. Самый полюс изображен в виде черной скалы, поднимающейся на громадную высоту.

1833

БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum
amicae visitarem, curas meas
aliquantulum fore levatas.

Ebn-Zaiat¹

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга, склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль рождается из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина — счастье, которое *могло бы сбыться* когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев, более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальных покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в галерее старинной живописи, в обстановке

¹ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится. — *Ибн-Зайат (лат.)*.

библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится, — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной, изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгочеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда с годами подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то *поистине* странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня *поистине* самим бытием, единственным и непреложным.

* * *

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей — только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о тенях, которые

Содержание

Метценгерштейн. Перевод Р. Облонской.....	5
Рукопись, найденная в бутылке. Перевод М. Энгельгардта	14
Береника. Перевод В. Неделина	24
Морелла. Перевод И. Гуровой	34
Король Чума. Аллегорический рассказ Перевод Э. Березиной	40
Тень. Парабола. Перевод В. Рогова	52
Лигейя. Перевод И. Гуровой	55
Падение дома Ашероу. Перевод Нору Галь	71
Вильям Вильсон. Перевод Р. Облонской	89
Человек толпы. Перевод В. Рогова	109
Убийства на улице Морг. Перевод Р. Гальпериной	118
Низвержение в Мальстрем. Перевод М. Богословской.....	151
Не закладывай черту своей головы. Рассказ с моралью Перевод Н. Демуровой.....	168
Элеонора. Перевод Н. Демуровой	178
Овальный портрет. Перевод В. Рогова	184
Маска Красной смерти. Перевод Р. Померанцевой	188
Тайна Мари Роже (Дополнение к «Убийствам на улице Морг») Перевод И. Гуровой.....	194
Колодец и маятник. Перевод Е. Суриц	245
Сердце-обличитель. Перевод В. Хинкиса	259
Золотой жук. Перевод А. Старцева	265

Черный кот. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	298
Заживо погребенные. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	307
Продолговатый ящик. <i>Перевод И. Гуровой</i>	321
Похищенное письмо. <i>Перевод И. Гуровой</i>	333
Разговор с мумией. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	353
Система доктора Смоля и профессора Перро <i>Перевод С. Маркиша</i>	370
Правда о том, что случилось с мсье Вальдемаром <i>Перевод З. Александровой</i>	390
Сфинкс. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	399
Бочонок амонтильядо. <i>Перевод О. Холмской</i>	404